

## НЕ ПРОШЛО И ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ...

(заметки о концерте А. Дольского в Саратове)

– Имя! – коротко бросил он, надписывая мне свою книгу. Не столько с вопросительной, сколько с повелительной интонацией. Я обмерла. Не сразу даже его вспомнила от неожиданности.

– Наташа...

Он написал: «Наташа! Добра, веры и любви». Почти то же, что 15 лет назад. Наверное, он это пишет всем. И небрежно расписался: «А. Дольский».

«Не надо приходить на пепелища», – вертелись в голове строчки Ирины Снеговой. И Майи Борисовой: «Не надо было, ох, не надо было...» Не надо нам было с Давидом идти в эту гостиницу. А спешили, дураки, боялись не застать, выбирали подарки.

Я робко постучала. «Кто там?» – раздался незабываемый голос. Гостей он явно не ждал. Мы узнали: они с Надей приехали этой ночью. Я отсчитала восемь часов на сон. Они уже прошли. Было двенадцать дня.

– Это Давид! – ответил Давид, предвкушая радость встречи.

– Какой Давид?

Минута растерянности.

– Который был у вас в гостях в Петербурге.

Я, вмешавшись:

– Который издал Ваш буклет!

– Но я не знаю... Я лежу абсолютно голый, – недовольно пробурчал бард.

– Это ничего, – ляпнул Давид. Я, толкая его локтем:

– Мы подождем внизу. Или прийти попозже?

Прорезался злобный голос жены:

– Это неприлично! Как вы не понимаете! Приходите на концерт.

На концерт мы шли и так. Но хотелось пообщаться чуть больше, чем позволяли рамки антракта. Когда-то у него было на это желание и время. К тому же я хотела передать ему свою книгу.

– Мы вам тут кое-что принесли, – сказал Давид.

Минутная перепалка супругов: визгливый голос Нади и шиканье Дольского. Потом из-за стенки донеслось:

– Сейчас я надену штаны и выйду.

Увидев мою книгу, не смог скрыть разочарования. Он явно ожидал чего-то другого. А эта книга была о нем. Она называлась «Будьте Вы благословенны» и вышла еще семь лет назад. Я долго не решалась ему ее отправить, и послала лишь к юбилею – в день его 65-летия. Книга через месяц вернулась не востребовавшей. Я подумала тогда: наверное, был в отъезде, может, за границей, не смог получить... Ничего подобного. Он, мельком на нее взглянув, объяснил причину: «У нас почта далеко от дома». Если б он это сказал раньше... Но книга была уже, к сожалению, надписана и вручена. С таким же

успехом я могла бы выбросить ее на помойку.

– Мы идем сегодня на Ваш концерт, – сказала я, чтобы что-то сказать. Хотя говорить уже ничего не хотелось. Он оживился:

– Вам будет интересно, потому что вся программа – новая... Жаль, конечно, ребята, что не удалось посидеть, поговорить, хотелось бы пообщаться, но... – Он развел руками. – Приходите на концерт.

Мы вышли из гостиницы в гробовом молчании. Память прокручивала картинки: вот Дольский у нас за столом, уминает котлеты с картошкой, залпом выпивает из банки абрикосовое варенье. Вот мы собираем ему посылки: краски, кисти, костюмы для борьбы дзюдо детям. Вот у него в Питере записываем на магнитофон еще нигде не звучавшие стихи и песни, обсуждаем, восхищаемся, спорим... Неужели он все забыл? Ведь не прошло и пятнадцати лет...

– Не прошло и пятнадцати лет, как я снова в вашем городе! – с этой фразы он начал свой концерт. Хотя нет, до еще до него на сцену выплыла пышная дама и торжественно объявила: «Компания «Исток» представляет!...» А потом уже вышел сам Дольский.

Внешне он изменился мало. Только очень похудел. Когда я, оправдываясь за наш ранний визит, сказала, что позже мы боялись его не застать, так как на обед его должны были увезти в «Камелот», Дольский очень удивился:

– Какой еще «Камелот»?

– Ресторан. Который обещает Вам «радушный прием», – так, по крайней мере, звучало в рекламе.

– Какой ресторан! – с отвращением сказал Дольский. – Я ем только два раза в день – в 13 часов и в 18. И только кашу.

Мы с Давидом мысленно ужаснулись, вспомнив его сокрушительный аппетит и детскую любовь к сладкому. Но диета пошла певцу на пользу. Он стал суше, стройнее и от этого казался даже моложе, чем 15 лет назад. Но в то же время что-то неуловимо старческое сквозило во всем его облике. В жалком заискивающем тоне: «Я хотел бы приезжать каждый год! Но не приглашают...» И в том, как он кланялся, прижимая руки к груди, благодаря за аплодисменты расслабленным голосом: «Спасибо, мои дорогие...» В бородатых шутках: «Вы хотите песен? Их есть у меня». В слащавых комплиментах женщинам: «Женщина – совершенное произведение природы». Я смотрела и не узнавала. Все было так, да не так, как в той игре, где просят найти 10 отличий на двух почти идентичных картинках. Тот же зал, сцена, та же гитара, руки, голос. И – все другое. Вялый тон. Заученные клише. Домашние заготовки. Однообразные «импровизаторские» приемы, набившие оскомину. Перед концертом к нему разлетелась за интервью Таня Лисина. Ей преградил дорогу охранник: «Не надо. Не осложняйте ему жизнь».

Стали подносить записки. Дольский попросил: «Записки, пожалуйста, в антракте. Очень вас прошу!» Тяжело лишний раз подойти и взять? Радикулит? Нет, это была не старость тела. Это была старость души. Мы сидели далеко, и я не видела его глаз, но мне казалось, что они у него – потухшие, мертвые. Или

это во мне все было мертво?

Программа в 1 отделении действительно была новой. Но не запомнилось ни одной песни, ни одной мелодии. Лучше бы она была старой! – думала я. Может быть, тогда что-нибудь оживило бы в душе, всколыхнулось? Почему во мне все молчит?

– Я открыл для себя новую форму – сонеты. Я понял, что я сонетист, – говорил Дольский. Почему-то вспомнились строчки Ларисы Миллер:

Когда отчетливы приметы  
Того, что стар и одинок,  
Пиши чеканные сонеты,  
Сонетов царственный венок.

Две из его новых книг целиком состояли из сонетов. Дольский объяснил свою любовь к этой форме строгими, дисциплинирующими границами жанра: «Прижатый к стенке, мыслишь кратко». Но эта краткость отнюдь не была сестрой таланта. Обращение к сонетной форме без оригинального содержания, без сюжета вырождалось в версификацию.

Весьма туманен сей пиит.  
Он сам себя не понимает.  
Тому, что в сердце бултыхает,  
Он придает мудреный вид.

И философом на бумаге  
Пред очи публики представ,  
Он обнажает грубый нрав  
И сердце делового скряги.

Ошибки не беру я в счет,  
Склонения и ударенья...  
Солиден вид стихотворенья  
И дум бухгалтерский учет.

Мне слабая литература  
Милей, чем мощная цензура.

– Да это же автопортрет! – подумала я, когда прочла. У меня самой есть где-то похожие строки о цензуре («разрожусь ли строчкой элегической иль сама их выброшу за борт – только б не цензуры хирургической идеологической аборт»), но иной раз «литература» настолько «слабая», что без цензуры, то бишь без редакторской правки не обойтись. Мы с Давидом уже столкнулись с этой проблемой еще в 90-м году, когда готовили к печати сборник Дольского. Давид

проделал гигантскую работу с его текстом. Замечания касались неверных знаков пунктуации, всех этих не любимых им «склонений и ударений», неточных употреблений терминов и названий, неудачных рифм, неудобочитаемых строк. Да, конечно, понятия «лучше – хуже» субъективны, но ведь есть какие-то общепринятые каноны, грамматические правила, стилистические нормы, в которых Дольский был, к сожалению, не силен. Просто под музыку многое «проходило». Но ведь книги люди должны читать глазами. Кое-что он тогда, к его чести надо сказать, исправил. Но оставленные огрехи удручали своим количеством и били, что называется, в глаза.

Певцов любви невнятен глас.  
Какой словарь! О, Даль несчастный.  
Все выставляют напоказ –  
Плохую плоть, адюльтер частный.

Это тот случай, когда в своем глазу не видят бревна. «Какой словарь!» А у самого он какой?!

Неудивителен народ,  
Что, так поднаторев в убийстве,  
Пророкам вкладывает в рот  
Косноязыкие витийства.

Вот именно. Косноязыкие. В конце книги автор выражал «благодарность Владимиру Уфлянду за помощь в составлении книги». В сборнике сонетов – «...сыну Александру за помощь в составлении...» Как же он не понимает, – думала я, – что это стыдно, что поэт должен сам составлять свою книгу или, по крайней мере, не афишировать чью-то помощь в таких вопросах. Тем более, помощь детей.

Читаю о нем в «Рекламе недели»: «Произведения Дольского давно уже стали частью российской культуры. В литературной энциклопедии, составленной Пушкинским Домом, Александр Дольский назван одним из ста лучших поэтов 20 века. Его стихи изучают на филологических факультетах, западные слависты пишут научные работы о его поэзии... Это поэзия на все времена». Это то, что пишет о нем компания «Исток». А вот что пишет сам Дольский:

Порочен мир от века. Дух разврата  
Присущ простой обыденной душе.  
И юным трупам к свету нет возврата.  
Их куча в гениталиях, в гроше,  
В дурмане, в вязком радостном насилье,  
Как черви – копошится и торчит.

Кусок мясной в груди у них стучит,  
Гоняя кровь, наполненную гнилью.

Да кого же он так, Господи?! Смотрю в начало стихотворения. Оказывается, речь всего лишь о «простой, обыденной душе».

Их ум животный создает химеру –  
Девчонка – недожаренный бифштекс.  
В их книжках легкий, словно газы, текст,  
Что дети выпускают в атмосферу.

У самого автора текст – тяжелый, громоздкий, неудобочитаемый. И это ничуть не лучше тех, о которых он пишет. Боже, куда смотрел Уфлянд? Сын Александр?

В одном из интервью Дольский сравнивает себя с Розенбаумом:

– Знаете, в 60-х на знамени бардов было написано: «Искренность и честь». На знамени Розенбаума всегда было написано: «Успех». Это вовсе не плохо. Просто у меня другой путь.

– Какой?

– У меня совершенно другое отношение к слову.

Однако слово относится к нему плохо. Мстит за себя. Ну как такое можно сказать по-русски?

...Много славных и умных коллег,  
Не поняв ни полстрочки, ни ноты,  
Свое сердце губили, отняв у себя –  
Не завидовать право  
Моей легкой как будто судьбе...  
От моей филигранной работы  
Не приняв для себя ничего, утверждая, что  
Искренне – значит коряво.

Именно что коряво! Полная потеря поэтического слуха. И чему здесь завидовать? Завидовать можно стихам, под которыми хочется подписаться, о которых думаешь: «Ну почему не я?!», а не тем, которые с трудом заставляешь себя дочитать, насилуя язык и ухо. Тема зависти (по отношению к нему) и уязвленной гордости (по отношению к другим) – больная для Дольского тема. Она часто сквозит в его интервью, в репликах со сцены.

– Моложе меня, а уже издают свои сборники... (Опять я уловила какие-то старческие брюзжащие нотки в его голосе).

– Коллеги воспринимали меня враждебно. Сначала из-за гитары, потом из-за стихов. Им трудно было меня понять... (из интервью в газете).

– Если бы я был допущен к пирам литературных избранников... (из

предисловия к книге).

– Они считают себя самыми главными, ну и пускай. До меня почти никто не использовал высокий стиль в поэзии (из интервью).

Иногда он говорил такое, что просто неловко читать:

– Как бы я ни любил Булата Окуджаву, его песни будут всегда романсами того времени, советского времени. Мои же песни времени не имеют. Меня даже упрекали: придет Мао Цзэдун – и Дольский будет петь свои песни. Придет к власти Гитлер, а Дольский будет петь свои песни. Придет к власти Пиночет, а Дольский будет петь свои песни. Это как бы плохо. А я думаю, что это как раз хорошо.

Когда-то он так не думал. Когда-то он не чурался злободневных песен, не боялся петь о том, что волнует людей, страну. Еще Гете говорил: «Лишь тот живет для вечности, кто живет для своего времени». С каким трепетом и восторгом мы с Давидом, замирая, слушали в 89-м в «Олимпийском» его «Коммуноверцев», «Корабль сумасшедших, страну дураков», «Как весь народ»... О его «перестроечных» песнях говорили в трамваях, спорили в очередях. Он пел в них о самом главном, гораздо резче, чем тогда допускалось. В тех песнях были надлом и проклятие прошлого, извлечение горестных уроков из него, осознание своей вины, размышления о судьбе России, ощущение нашего сегодняшнего несовершенства и чувство неистребимости свободы... Сейчас его кредо стало иным. Он высказывал его в интервью:

– Я могу, как анатом, общество разъять на части, разрезать вдоль и поперек, проанализировать социальные язвы. Просто на концертах этих песен не пою: когда люди приходят, это для них праздник, и мне не хочется им портить настроение.

Им? Или тем новым русским, которые «платят и заказывают музыку»? А когда-то ведь пел:

Господа офицеры,  
Я прошу вас учесть,  
Кто сберег свои нервы –  
Тот не спас свою часть.

Теперь ему нервы стали дороже. По ТВ говорили о «гражданской позиции Дольского» как позиции «некрикливой, не баррикадной, но честной по крайней мере». Я бы такой ее не назвала. Со сцены он сетовал:

– Раньше я мог спеть антисоциалистическую песню. А теперь антикапиталистическую песню я не спою, потому что на телевидении все куплено.

А что же мешает ему спеть ее здесь, сейчас? – думала я. Ах, да, фирма «Исток»! Ей это вряд ли понравится. В следующий раз может и не пригласить.

Разжирев на вранье, журналисты  
Смотрят честно с экранов на нас.  
И, глупея все больше, артисты  
Забавляют владетельный класс. —

читаю в его книге. А теперь он сам стал таким артистом. И на знамени его начертано уже не «искренность, честь», а что-то рассудочное, дидактичное. И весьма лояльное режиму.

Говоря о своей премии имени Окуджавы, он оправдывался:

— Это мне не Путин дал! Это мне поэты дали.

Именно что Путин. Видимо, сыграло роль, что они — земляки. Что, слабо было отказаться от премии, как Левитанский, Солженицын? Слабо написать, как Евтушенко в стихе «На смерть Левитанского»: «Не куплен Госпремией, встал он однажды и предупреждение войне произнес!»?

Он долго настраивал гитару, испытывая терпение. Душа молчала, не принимая сигналов. Она протрезвела раньше, чем кончился пир. Неопалимая купина обернулась обычным кустом. У крошки Цахеса кто-то вырвал три волоска. Золоченая карета превратилась в тыкву.

Дело было вовсе не в его отношении к нам, ко мне. На мои чувства это никогда не влияло. Мне говорили: «Ну как он мог не отвечать на такие письма?» А мне вовсе не нужны были его ответы. Интуитивно я чувствовала, что он не мог бы мне соответствовать в этом душевном разговоре на том же уровне правды и подлинности, на той же высокой ноте и волне, и получить в ответ нечто суррогатное было бы еще больнее, чем неответ. Как «камень в протянутую руку». Поэтому я всегда предпочитала протягивать руки в никуда, «в пустоту», к Богу.

Невидимка, Невидадь, Никто!  
Я пишу как Богу или Другу.  
Пусть ты даже будешь черт в пальто —  
Через вечность протяни мне руку.

Дольский — это символ, образ, призрак, объект вдохновения. И вот этот образ рассыпался, как карточный домик.

Милый призрак!  
Я знаю, что все мне снится.  
Сделай милость:  
Аминь, аминь, рассыпья!  
Аминь.

Сверлили висок строчки из «Надгробия» Цветаевой:

Твое лицо, твоё тепло,  
Твое плечо – куда ушло?  
В шкафу – двустворчатом, как храм –  
Гляди: все книги по местам.  
В строке – все буквы налицо.  
Твое лицо – куда ушло?  
Напрасно глазом – как гвоздем,  
Пронизываю чернозем.  
В сознании верней гвоздя:  
Здесь нет тебя – и нет тебя.

Я всматривалась в его черты, вслушивалась в звуки голоса и гитары, пытаюсь уловить то, что когда-то в нем видела, слышала, любила. А оно все ускользало, ускользало, как песок сквозь пальцы. Но где же это все, Боже? Да был ли мальчик? Или, как говорил Чацкий Софье, «быть может, качеств Ваших тьму, любясь им, Вы придали ему?»

«Не надо приходить на пепелища», – вертелась в уме строчка И. Снеговой. Все там уже не так, ибо изменилась моя душа, и то, в чем я находила великое и прекрасное прежде, кажется пустым и лживым теперь.

Недавно разбирала свою читательскую почту и случайно наткнулась на одно давнее письмо. Бросились в глаза строки: «Читала я повесть «Будьте Вы благословенны», Ваши восхищения Дольским, и все ждала, когда же Ваше восхищенное состояние переменится, ведь нельзя очень долго находиться на такой точке кипения...» Может быть, все дело в этом? Перекипела, перегорела, переросла свое отношение? Произошла какая-то амортизация чувств, отмирание прежних клеток, огрубение души? Может быть, дело во мне, а не в нем?

Честное слово, мне хотелось, чтобы это было так, мне это было бы легче. С собой бы я как-нибудь разобралась, справилась. Но увы...

Все, что он говорил, вызывало внутренний протест, отторжение.

– Я учился у таких учителей, как Пьер де Ронсар, Джордж Байрон, Жоашен Дю Белле, Шарль Бодлер, Жак Превьер... Это были мои учителя. В советской музыке и в советской поэзии у меня учителей не было.

Ну что за дешевый снобизм! Чему же он научился у своих учителей? Читаю стихотворение «Учителя»:

Я сначала любил, как Есенин,  
Воспевать и поля, и вино.  
Но в печали любви и веселий  
Постигал уже Блока давно.

И открыл, как калитку, наивно,  
Что ведет в неподстриженный сад,  
Молчаливого Тютчева, дивно  
В моем сердце кольнувшего лад.

И это он называет «другим отношением к слову», нежели у Розенбаума?

И я смотрю в свои зрачки  
И вижу песню и аорту,  
Что обесценивает к черту  
Весь синтаксис и все значки.

С синтаксисом у Дольского всегда были напряженные отношения. Но его пока еще никто не отменял. «О если б без слова сказаться душой было можно!» – восклицал классик. Тогда бы, возможно, Дольский был бы одним из первых поэтов. Но слово, язык – это то, обо что все время спотыкаешься в его неуклюжих, неудобоваримых виршах.

– Я счастливый человек! – объявил бард в конце первого отделения концерта.  
– Я привез вам мои книги! Они дорогие, – честно предупредил он.

Книги, действительно, стоили недешево: 250 рублей за сборник. Сборников было четыре. Плюс буклет за 50 р., который издали мы с Давидом еще в 90-м году. Тогда он продавался за шесть. Мог бы подарить нам хотя бы одну книжку по старой памяти, – подумала я. Вспоминала, как Давид добывал материалы, ругался в типографии, таскал на себе все эти пачки, грузил, отправлял в Питер. Поначалу ими была завалена вся наша 9-метровая редакционная комнатка: форзац был черного цвета и пачкал, поэтому каждый экземпляр надо было прокладывать листком бумаги (10 тысяч!), мы горбались над ними неделю. После всех взаиморасчетов осталось две тысячи, мы их имели полное право взять себе за труды (это сказал нам сам Дольский), но мы отправили ему все до копейки. Хотели показать, что издали его не ради денег, а из любви. И хоть бы капля благодарности. Неужели он все забыл? Втайне я ждала, что он что-нибудь все-таки скажет со сцены, вспомнит добрым словом, хоть намекнет... И «дождалась».

– Я никогда не забуду одного человека... Пятнадцать лет назад он устроил мне здесь концерт.

Мы с Давидом переглянулись и вытянули шеи.

– Я не буду его называть по имени, чтобы не подумали, что это подхалимаж. Это брат известного артиста...

Меня как ошпарило. Янковский?! Но причем здесь он...

– Если он здесь, в зале, я бы очень хотел, чтобы он подошел ко мне в антракте. Одна женщина тогда хотела запретить мой концерт. А он ее выгнал! Пока такие люди есть, я верю, наша культура не погибнет.

Мы сидели, как оплеванные. Хотелось встать и уйти. Я ничего не понимала.

Что за бред?! Это он – о Янковском, которого Давид тогда в «Кристалле» силой вытолкнул с букетом на сцену (букет, естественно, был наш): «Иди, ему будет приятно, если ты сам вручишь». Тот поупрямился, но вышел. Дольский был растроган: сам брат знаменитого артиста! А потом после первой же его дерзновенной реплики («этот фашистский журнал «Наш современник» – под бурные аплодисменты зала), в дирекцию клуба ворвалась Жукова с криком: «Вы сами фашисты! Я этого так не оставлю!» и потребовала репертуар Дольского на предмет цензуры. Янковский был так напуган этим скандалом, что с тех пор много лет и слышать не хотел о концертах Дольского, как мы его ни обхаживали и ни убеждали. Я писала обо всем этом в книге. Что это? Аберрация памяти? Нет, тут другое... Янковский ему предпочтительнее, чем мы. Более престижная фигура. Директор ДК, позже – работник Министерства культуры, заслуженный деятель культуры РСФСР, опять же – Брат. Может быть полезным, устроить гастрольи...

Наивный Дольский. Как он рад был тогда, как польщен. «Какой человек! Какой букет он мне преподнес!» – хвастался при нас Наде. Мы помалкивали. Чтобы Янковский потратил деньги на букет? Тем паче на билет?! Пришел на концерт?! Да он и фамилии его бы сейчас не вспомнил. «Напрасно ждал Наполеон...» Никто, конечно, к Дольскому не вышел.

Во втором отделении все стоявшие по стенкам рассосались, в зале появились свободные места, многие ушли. В душе было пусто и темно, как будто там выключили свет. Дольский отвечал на записки, собранные в антракте.

На многие просьбы спеть ту или иную песню отвечал: «Не помню... Не могу вспомнить...». Часто забывал слова, пропускал целые куски. Говорил вяло, неинтересно. Было ощущение халтуры. Из зала кричали: «Двадцатый век!» «Польшу!» «Россию!» Ничего этого он «не помнил». Казалось, он забыл самого себя. «Россию», правда, спел, но не ту, которую ждали, не «Болит у меня Россия», и не «Боже, спаси Россию», а новую. Она была гораздо хуже.

Просторы брусничных полян  
И хрустальных озер,  
Царство наивных, страна  
Подгулявших – лесная, степная,  
Мать, отдающая, сраму не зная,  
Приплод свой на смерть и позор...  
Это любимая, страшная,  
Наша собака цепная...

При этих словах мне вспомнился голос жены за гостиничной стенкой («это неприлично!»), охранявшей своего «голого короля» с рвением, достойным лучшего применения.

На сцену снова выплыла дама с букетом: «Компания «Исток» поздравляет...» Люди потянулись к выходу.

Через несколько дней вышли газеты с восторженными заметками о концерте Дольского, интервью с ним.

– Нужно петь о гармонии, о красоте. Для меня главное в искусстве – благородство. Я все делаю для того, чтобы люди почувствовали, что они благородны. Зачастую они считают себя обыкновенными обывателями, низменными людьми, а я им доказываю, что они благородные, высокие личности.

– Ваше основное жизненное правило?

– Искренность, благородство, честность.

– Искренность чревата трагедиями...

– Знаю, но я всегда верю людям. Хотя давно бы уже пора привыкнуть, что людям свойственно предавать.

Вот здесь бы я с ним спорить не стала.